

Юз Алешковский

И листья
грустно
опали...

Повесть из книги
“Пупоприпупо”

Юз Алешковский
И листья грустно
опадали... Повесть
из книги «Пупоприпуло»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23282393

ISBN 9785448387678

Аннотация

«И листья грустно опадали...» – как и другие поэтические произведения Юза Алешковского, отличаются богатством языка и непредсказуемостью сюжета. Герой повести, Сергей Иванович, обладает уникальным обонянием. «Он носом чувствует зловоние пороков. Его обоняние равно нравственному чутью. Он отказывается поставить свой талант на службу «их мира и их прогресса». (Ольга Шамборант). Советским спецслужбам не удаётся склонить Сергея Ивановича поступиться нравственными принципами. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

От издателя

5

Конец ознакомительного фрагмента.

24

И листья грустно опадали...

Повесть из книги

«Пупоприпупо»

Юз Алешковский

© Юз Алешковский, 2019

ISBN 978-5-4483-8767-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Автор изменил прежнее название повести «Блошиное танго» на «И листья грустно опадали...»

(Пункт приёма пустой посуды)

*Памяти благородной и добрейшей
машинистки Тани Павловой,
удавившейся недавно в Москве
от тоски одиночества
и окончательной безысходности*

От издателя

Человека этого я не раз встречал в различных пустопосудных и, естественно, винно-водочных очередях.

Не сказал бы, что личность его могла привлечь ваше внимание какими-либо необыкновенными чертами или странностями поведения. Тихий обыватель, каких много. Отнести его можно к породе людей смиренно спившихся, находящих горчайшее удовольствие в своем продолжающемся падении на дно жизни.

Только теперь, задним – как это всегда бывает – числом, вспоминая я, что лицо Сергея Ивановича – лицо, повторяю, стоически смиренное – напоминало вдруг морду умной, чуткой, тонко сопоставляющей учуянное, но прижившейся к своей душеразрывающей жалкости собаки.

Есть среди представителей собачьей породы – как среди бездомных, никем не пригретых бродячих псов, так и среди вполне обеспеченных и обожаемых счастливцев – эдакие непризнанные гении. Дар псов бездомных забит самой жизнью: поисками объедков, спасительной – в жарыщу – тени, согревающего – в холодрыгу – прибежища. Им и в голову не придет попытаться как-либо внушить случайному человеку, что чутье их может творить чудеса прикладного для человеческой жизни характера, что нынче оказались они волею судьбы в крайне отчаянном положении, что готовы

за миску зачуханной шелюмки и гарантированную защиту от живодеров продемонстрировать свое ошеломительное искусство **находить, различать и учуивать**. И происходит это потому, что равнодушные толпы людей и неотступное преследование вездесущими стихиями забивают собачье достоинство, то есть личный природный дар. Забивают унынием оставленности и тоской потерянности. Вполне возможно, что большинство людей равнодушны к судьбе бездомных псов по причине равнодушного отношения к самим себе, происходящего, в свою очередь, тоже от забитого в них чувства достоинства.

С некоторыми вполне обеспеченными собаками дело обстоит несколько иначе, потому что дар их начисто заглушается не отчаянной и жалкой борьбой за ежедневное существование, а как раз нахождением на полном довольствии в доме хозяев, равнодушных к судьбе собственного, забитого жизнью дара и относящихся к искренне любимым домашним животным как к самим себе. То есть полагая, что единственной целью жизни является пропитание, нахождение под своей крышей, благодарное приятие и ответное возвращение ласки ближним.

И если вид пса, явно одаренного от рождения, но нынче опустившегося, бездомного и голодного, пробуждает в сердце вашем возвышенную тоску и жалость, в уме – мысль о трагичности бытия, так или иначе распространенной на все живое, а может, даже на нечувствительную часть Творения, то

вид псов, развращенных собственным и хозяйским сытым самодовольством, поневоле заставляет вас ощутить, — каким бы парадоксальным ни казалось это ощущение, — что трагическое — благородно, а отстраненность от него временами не только страшна, но и отвратительна.

Тут вполне можно было бы пофилософствовать о некоторых спецслужбах, на которых человек использует способных собак, разом извращая и их дар, и собственную свою природу, и облик нашей цивилизации. Но я, как издатель, всего лишь предваряющий печальную исповедь случайного своего знакомого, порядком отвлекся от него самого.

Так вот — задним числом вспоминая — лицо Сергея Ивановича неведомо почему принимало вдруг выражение учуявшей что-то преотвратное собаки. Он даже отступал из очереди в сторонку, словно пес, которому злые дети или садисты-взрослые ради злодейской шуточки подсунули под нос кость, вымазанную мазутом. Не знаю уж, фокусы ли это обдумывания явления задним числом, но казалось мне, что уши Сергея Ивановича — тогда я не знал еще ни имени его, ни отчества — настороженно от чего-то отмахиваются, на лбу собираются морщины, а брови приходят в благородно-нервное движение от работы какой-то неведомой мысли — как это случается наблюдать на мордах неглупых собак, выведенных вдруг из блаженной и привычной дремы каким-либо обстоятельством внешней жизни или внутреннего раздумия.

Однажды мне даже показалось, что он, раздраженный

живоглотностью приемщицы, садистично придиравшейся к каждому бутылочному горлышку в поисках «нестандартной щербатости», просто-таки зарычал и залаял, негодуя, срывающимся голосом.

Затем бросил место в очереди, вежливо попросив меня присмотреть за его двумя авоськами. Возвратился с маленьким чемоданом в руках и двумя шлангами, накинутыми на шею вроде шарфа. Втайне от приемщицы сказал всем присутствующим, что сейчас он ей – гниде – заделает «козу». Попросил собрать все не принятые из-за якобы щербатинки в горлах бутылки и вынести их на улицу. На улице, за ящиками, зажег газовую горелочку – баллон с газом находился в его чемодане – и с необычайной скоростью оплавил действительно щербатые – следствие нетерпеливо вскрытой бутылки с заветной влагой – горлышки. Он также привел в порядок бутылки, зловредно подозревавшиеся приемщицей в «нестандартной щербатости».

Таким образом мы сдали ей добрую сотню валявшихся в стороне бутылок и устроили в заброшенном яблоневом саду коллективную пьянку.

Не могу не сказать тут о том, с какой мстительной радостью и восторгом всех душевных сил наблюдали стоящие в очереди за мастерским облапошиванием приемщицы. Можно было подумать, что наконец-то, после долгих лет безнадежного ожидания, строгая, но справедливая судьба милостиво удовлетворила всенародную страсть протеста

не против мизерного своеволия какой-то жалкой замухрятины-приемщицы, а против самого несменяемого, зажавшегося, тупого и неприступного в своей тупости правительства. Что говорить, приятно безнаказанно врезать всесильной власти по беспредельно возгордившейся сопатке, даже если подобная врезка – что жужжание назойливого комара возле уха глухого инвалида!...

Вот во время той самой пьянки в яблоневоm саду Сергей Иванович некоторое время откровенно приглядывался ко мне, словно обнюхивал, затем отвел в сторонку и спросил, правда ли, что я – «писатель с профессиональным уклоном»? Я ответил, что пописываю временами, но чаще, каким-то образом, чем печатаюсь, сдаю посуду и сижу на больничном Литфонда. «Не уходите. Я сейчас вернусь», – сказал он. Через полчаса возвратился и вручил мне пару толстых общих тетрадей. «Доверяю вам безоглядно, но с уверенностью. Через месяц делайте с этой пробой пера все, что вздумаете. Если можете, передайте **туда. Там** много разной хреновины печатают...» «Извините, – говорю, – но вы-то... то есть – с вами-то что – и так далее?» «Ни то ни другое. **Закрывают.** Прочитаете вот это... поймете. Мы с женой ждем **закрытия** со дня на день... Поддадим, что ли, в гуще всенародной жизни и простимся до встречи, как говорится, в братской могиле... поддадим с ужасом и весельем!» «Не опрометчиво ли вы поступаете? – спросил я. – Найти вас после публикации рукописи **там** будет проще простого. Са-

ми понимаете...» Он вежливо, но не без досады остановил мои здравые разглагольствования: «Неужели вы думаете, что листья грустно не опадали?... Опадали, смею вас заверить, а последних астр печаль хрустальная жива... Не удивляйтесь странному моему бесстрашию. Я слишком **им** нужен. Уничтожить меня после выхода моих откровенностей покажется делом весьма непрактичным. Кроме всего прочего, **так**ая жизнь потеряла для меня с некоторых пор всякую ценность, но шанс на достойную смерть я еще, кажется, имею. Вот тогда **они** закроют меня по-настоящему... Жаль, конечно... очень жаль, что **закрывают...** До конца моих дней опаивал бы я на пользу людям щербатые горлышки их пустых сосудов... стоял бы себе, как все вы стоите, в безмолвной очереди к естественной кончине и даже перестал бы вскоре удивляться тому, как **они** превращают яростную прелесть жизни в унижительнейшее **блошиное танго...** поддадим, повторяю, с ужасом и весельем...»

Поддать как следует мы, правда, не успели, потому что в силу «новых веяний» и в соответствии с мерами правительства по борьбе с алкоголизмом развеяны были враждебными вихрями милиции и дружинников. Сергей Иванович, можно сказать, на плечах вынес меня «из боя» — я мерзко окосел — вместе со своими общими тетрадами. У моего дома мы простились и больше никогда не встречались.

На следующее утро, даже не опохмелившись, я взялся за рукопись Сергея Ивановича. Она произвела на меня силь-

ное и странное впечатление. Странное, потому что некоторые моменты искреннейшего повествования показались мне слишком уж неправдоподобными. Все восставало во мне против ряда вызывающих гротесков. Обидно было, что художественный дар Автора не побрезговал снизойти до того, что на языке обывателя и власти вполне может быть названо клеветой. Даже мне – спившемуся литератору, не питавшему никаких иллюзий насчет бескрайне подлой природы советской власти, – трудно было поверить, что в сверхсекретном НИИ ставятся бесчеловечные опыты на военнопленных афганцах. Захотелось – захотелось страстно – разыскать Автора и возопить о предоставлении доказательств фактов вивисекции.

Искусство, хотелось мне сказать ему по-корешам, искусством, но ведь и совесть надо знать, Сергей Иванович, даже при обличении такого невиданного в истории вселенского, адского монстра, каким несомненно является наша **сонька**. Мало ли что имеется у нее в потенции чудовищного, чему не дай Бог стать когда-либо беззастенчиво явленным?... Стоит ли вызывать даже малую часть всего этого к жизни пусть ясновидящим воображением и внедрять, так сказать, идею, чье действие напоминает чем-то механизм действия лукавого вируса, в доверчивые «клетки» реальности? Ведь **сонька** порождена к жизни именно **идеями** и исключительно ими вскормлена. Сожрав **идеи** и переварив их, питается она в настоящее время многообразными экскремен-

тами всего этого своего «идеального», внушив каким-то мистическим образом заграничным образованным и темным людям, что дерьмо ее – свежий, с грядочки, огурчик-помидорчик, а мутно-кровавая моча – чистейшая свежая вода... Мало ли чего, Сергей Иванович, можем мы подналожить в **сонькин** огород, потревожив сонм ветхих чучел, особенно от ужаса, ненависти и с похмелья?... Может, поостережемся подкармливать умонепостигаемо-го монстра всем сатирическим и жутковато-фантастическим, не только не удручающим его, но, наоборот, подвигающим к педантичному воспроизведению – на ужас всем нам – нами же накаренного? Не следует ли нам быть по отношению к **соньке** абсолютными реалистами, остерегающимися даже клеветы на нее как низшей формы воображения? Ведь ясно же с некоторых пор и сознанию, и душе, что ничего нет для **соньки** ужасней и уничтожительней, чем **реализм действительной жизни**, как говаривал Достоевский. И не в том ли сущность художественной задачи истинного реалиста, Сергей Иваныч, чтобы не в **жизни** внушать наличие ее на Земле, в небесах и на море – она в этом нисколько не нуждается, – но чтобы откровенно внушать всему омерзительному фантомному – даже не внушать, но предоставить убедиться, – что в бытийственном смысле **его нет? Нет** – и точка!

И не чудесно ли для нас – почти обезнадеженных существ – подобное отсечение всего мертвенного и дохлого, но вообразившего себя вечно живым, от гнущегося и шумя-

щего под всеми звездными вихрями **древа жизни?**... «Выпить... выпить... Необходимо выпить...» – подумалось тогда мне...

Не знаю, прав ли я был в том похмельном мысленном разговоре с Сергеем Ивановичем. Не знаю также – существует ли он перед искренней и совестливой рукописью, прочитанной мною, и все ли в ней соответствует судьбе Автора. Но поступил я с нею согласно его распоряжениям. Вслед за этим и сам оказался на Западе.

Об остальном – судить Читателю.

* * *

Был день осенний, и листья грустно опадали...

Начну очерк моей жизни под вышеуказанным названием прямо с немислимого и феноменального моего нюха.

С нюхом этим я родился и из-за него не раз бывал низринут ниже уровня уразумения. Нюх у меня действительно собачий. А в действенном сочетании с человеческим умом такой собачий нюх – чистая морока, проказа и источник лишних беспокойств. Иной раз приходилось забивать в обе ноздри парафиновые пробки, чтобы в гостях, скажем, или в театре, я уж не говорю о партсобраниях, избавить себя от острого реажа на всякопахнущую природу отдельных человеков и общей толпы людей. Не могу тут не отвлечь-

ся и не сказать, чтобы больше уж к этому моменту не возвращаться, что каждый из нас ежеминутно представляет собой своеобразный букет вполне приемлемых и вполне органических запахов, а также абсолютно невыразимых никаким поэтическим словом ужасных, гнусных, подколодных — адских, одним словом, запашков. Если уж душу нашу воротит всякий раз от разного рода мелких людских злодейств, то представляете, **каково** унюхать запашок злодейства? **Каково** почуять смущенною ноздрею помышление злодейства? **Каково** воспитанно держаться в присутствии людей, изворотливо лгущих, внутренне проказничающих, глумящихся, завидующих, стервенеющих от бессильной страсти мщения, затаивших в душе злобу, подлянку, страсть к доносу, имеющих на совести черт знает что, причем в таком смердящем виде и в таком количестве, что если бы была у людей возможность прообонять, так сказать, все, к чему память наша привлекает прижизненно равнодушествовать, то люди, поверьте мне, не вынесли бы собственных миазмов. Не вынесли бы не из-за непримиримой со всеми смертными грехами и с отталкивающими безобразиями совестливости, а как раз из-за счастливой невозможности слабого, вернее, ослабевшего человеческого обоняния мужественно перешагнуть порог чувствительности и при этом не дать потрясенному мозгу обзуметь от невыносимого омерзения.

Можете считать меня безумцем, замечательно и во всех деталях разработавшим свою параноическую идейку.

Не привыкать. Я утверждаю, суммируя свой опыт и наблюдения, что каждый грех – помышленный и совершенный – пахнет по-своему. У греха помышленного запахок, разумеется, менее острый и похабен, чем у совершенного, но, по понятным причинам, более стоек. Не могу также не сказать пару добрых слов о вечно обнадеживающем моментике существенного ослабления истинно неприличной вони совершенного греха в человеке раскаивающемся. Публичное же покаяние – с русским нашенским надрывчиком и обильной слезоточивостью – зачастую, хотя, к сожалению, временно, замечательно дезодорирует просмер-девшую личность...

А знаете ли вы, какой именно тип человека источает из всех пор своего существа самую дурнопереносимую и лукавую вонь? Тип человека, уверенного в собственной непогрешимости, несмотря на вопящие об обратном изнутри и извне факты жизни...

Знаете ли вы также, как бессознательно порою, как страстно, как тоскливо, но с умопомрачительным долготерпением мечтают людские сообщества – от мелкосемейственных образований до авторитетных и внушительных наций – об очистительном историческом сквознячке или о решительном и грозном движении трепетных воскрылий ноздрей на величественной и озорной сопатке **ветра перемен?**

Мечты, к сожалению, чаще всего остаются мечтами, механически переходящими в разряд пенсионных грез. Толпы

людей, то есть мы с вами, настолько привыкают к праздным грезам о **переменах** – хотя бы о минимальном улучшении правил приема пустой посуды от населения, – что перестают замечать смрадную вонищу, сгустившуюся донельзя в спертой атмосфере нашей нелепой жизни...

Одним словом, когда мне ужасно надоедает мельтешение в башке противоречивых мыслей и заведомо оскопленных идеечек, я начинаю мыслить носом. При этом, подобно псу с весьма средним интеллектуальным уровнем, логику всего происходящего вокруг и всего воспринимаемого мною я не обмозговываю с умным видом, ни черта, заметьте, не понимая, но **чую**. Разумеется, со стороны кажется, что я реагирую на что-либо и на кого-либо или как-либо поступаю, соответствуя многочисленным сигналам мозга.

Кстати, мозг мой сослуживцы и ближние, включая супругу, считали и считают недоделанным. Конечно, они употребляли, беседуя о странных качествах моего мозга, другое скверное словцо. Запахов их не выношу. Не удивляйтесь, пожалуйста, отсутствию этих слов в моей речи. Достаточно того, что от смердины сквернословия некуда лично мне деться ни дома, ни на службе, ни в транспорте. Не могу не заметить, что вкупе с самым популярным в нашем народе глаголом источают словечки эти омертвляющее мою душу зловоение. Сравнить его не с чем, хотя сравнения, как вы понимаете, напрашиваются сами собой. Оставим эту тему...

Так вот, я работаю, вернее работал, в одном сверхсекрет-

ном НИИ, не имея, кстати, законченного высшего образования. Для меня было бы счастьем слушать лекции в общественной уборной, что напротив ГУМа, но не в советском вузе. Не вынес пару раз миазмов блевотины, подкисшей в бородах Маркса – Энгельса. Задыхался до многократных вызовов «скорой» прямо в институт от бездушного ленинского железа, растворенного в сталинском гное. На общих собраниях и на митингах, посвященных каким-нибудь очередным «руки-прочь-от-Анджелы-Девис-Анго-лы-Лумумбы-Кубы», начинал форменно безумствовать, словно наглотавшись грязного наркотика из лжи, демагогии, цинизма и лицедейства, настоящего на наших тупости, безразличии, рабстве и загнившем достоинстве. Забывшись, посматривал на стенд газеты «Правда», стоящий у дверей парткома института, – и меня начинало выворачивать. Скажу больше – при всей невыносимости для меня лично ужасного зловония сквернословия в нем все-таки имеется нечто органическое, пусть уродующее человеческие уста, но не покушающееся на природу живого, то есть как бы даже осознающее свою плебейскую ограниченность и вечно из-за этого подзаводящее себя на площадную разнузданность. Мат, скажу я вам, изначально невиннее большевистской нашей печати, пластмассового ее грязноватого душка и пустодушной выбитости захарканной половицы-передовицы.

Вспоминаю все это к тому, что в пятьдесят шестом году был увезен прямо в дурдом с митинга, посвященного лик-

видации Венгерского восстания. Спас меня от удушья, между прочим, сам докладчик, лектор горкома партии. Заметив, что я начал корчиться на своем месте, хрипеть и окончательно закатывать обезумевшие глаза, он с ходу прервал жуткую тираду о просчитавшихся венгерских контрреволюционерах... ставка на империалистические круги Запада... историю не повернуть вспять...

Прервав свою жуткую тираду, он бросился ко мне с трибуны, разложил на полу, в проходе между стульями, и без естественной брезгливости ртом своим, изрыгавшим всего полминуты назад нечто тупо-вонючее, принял спасительно к моему изнемогающему от омерзения дышать и жить рту. Вместе с дыханием из меня вырвались, словно сгустки блевотины, эти самые слова, вернее комки слов – «конррр... имперрр... венгеррр... антисс... террр... ник... гда... истор...».

Тот лектор был, конечно, не дурак. Он и вызвал не «скорую», а чумовоз. Меня препроводили в дурдом. Там я не распространялся о тонких странностях моего обоняния, хотя много чего мог бы порассказать психиатрам и санитарам о запашке ихнего заведения. Если выразаться точнее, то мог бы я порассказать о запашке отсутствия запашка. О сковывающем все твоё существо озябчике стерильного бездушия. О чем-то совершенно противоположном самой зачуханной, провинциальной, непротопленной баньке, с въевшейся в щели склизкого пола волосней и ошметками грязной

плоти. Все отдашь за неизгоняемую уже из пределов парной, за вдаряющую в ноздрю аммиаком, прокисшим березовым листиком и чем-то невыносимым, чем-то глубоко родственным, беспомощным и жалким, но размывающим наготу нашу до легчайшей безликости, – все, повторяю, отдашь за лобызаящуюся с тобой на пороге парной, словно несносный, гунявый пьянчужка, за волну истомленного жарка, за полное открытие вечно смущенных обществом, а оттого и враждебно замкнутых пор бедной нашей кожи. Это дарует сиротливому существу советского человека праздничное чувство истечения общего пота и временное избавление от социальной жизни.

...Но чумовоз... палата психушки... прогулочный психодром... Это обезнадеживает абсолютно. Этого не сравнить даже с пожизненным заключением во владимирской одиночке. Это – безжизненный предбанник ада... Там-то я и сообразил, что запашок, если позволительно называть запашком качество полной обездушенности – отсутствие запашка, есть предбанничек поганого ада...

Вел я там себя печально и тихо. Дышал исключительно ртом, чтобы не раздражать чутких рецепторов слизистой оболочки своей феноменальной сопатки запашком со знаком «минус». Редактировал стенную газету дурдома, названную мною, с согласия главврача и секретаря парткома, «НЕ ДАЙ МНЕ СОЙТИ С УМА». Слово «**Бог**» администрация распорядилась выкинуть из замечательного пуш-

кинского вопля. Правда, слово «**Бог**» возникало таинственным образом вновь и вновь. Сестры стирали его резинкой, замазывали мелом, который загоняют в желудок перед рентгеноскопией, но оно наутро вновь появлялось в близком моей душе вопле. Наконец после одной тщательной ночной слежки оказалось, что «**Бог**» – вы себе не представляете, какой это было для меня неожиданностью, – вписывал я. И делал это в истинно лунатическом состоянии, хотя действительно не намеревался, укладываясь в койку, встать посреди ночи и придать пушкинской строке вид целостный и гармоничный. Утром в столовой именно я искренне призывал всех больных и тех, кому садистически внушалось, что они больны, не раскачивать лодку и не давать коновалам повода прикрыть наш печатный форум. Даже тогда, когда в присутствии всего врачебного коллектива и в полной темноте мне показали захватывающе интересные кинокадры, снятые скрытой камерой, я отказывался верить, что странный тип – серолицый призрак в нелепых кальсонах, крадущийся мимо дрыхнущих пьяных санитаров по коридору, вынимающий затем из хитроумной заначки похищенный у лечащего врача чернильный карандаш, встающий на цыпочки, подрисовывающий, высунув язык, над заглавием газеты слово «**Бог**» и сияющий после всего этого в палату с осмысленно злорадной улыбкой на удовлетворенной физиономии, – есть мое второе «Я». Тем более после того, как меня начали привязывать на ночь к койке ремнями, «**Бог**» продолжал таинствен-

но появляться в середине полюбившейся всем дур-домовцам строки Пушкина. После этого газету запретили выпускать, но регулярно вывешивали на стене «Правду», пока кто-то не перечеркнул кровью, неизвестно откуда добытой, первую полосу и не замалевал ее из сердца идущей фразой: **вы обросли ложью...**

При выписке из дурдома я получил первую группу и был объявлен невменяемым, что расценил как чудесное преимущество над всеми гражданами, живущими на каждом шагу под прессом «Морального кодекса строителя коммунизма» и УПК РСФСР.

С институтом было, конечно, покончено раз и навсегда. Я получал ничтожную пенсию и не переставая утешал сам себя и убитую горем мать тем, что являюсь счастливым и относительно свободным человеком в зоне нашей страны, да к тому же не выходящим на общие работы.

Дома я занимался тончайшими биологическими экспериментами. Сам выдул всю стеклянную аппаратуру. Выпросил у приятелей, уже работавших в НИИ, разные реактивы, датчики, счетчики, самописцы и прочие приборы. Они же подарили мне отличные газовые горелки и всевозможный инструмент. Кроме опытов с растениями и бытовыми паразитами – тараканами, клопами и блохами, – я занимался чистой халтурой. Я выплавлял из цветного стекла и выдувал сикающих водичкой, а то и одеколоном чертиков, буратино, обезьянок и поросят. Сбывал эту продукцию в вагонах элек-

тричек. Меня арестовывали и отпускали как стебанутого. Но самым большим успехом у граждан в электричках пользовались, как это ни странно, замурованные мною в искусно расплавленном стекле – то же самое природа отчебучивает с кусочками янтаря – тараканы, клопы и блохи. Непонятно, чем именно были столь притягательны для людей взрослых эти дотошные и неприятные паразиты, обретшие благодаря мне телесное бессмертие в обыкновенном бутылочном стекле. Может быть, оттого, что окружены они были светлыми бисеринками воздушных пузырьков, остающихся после ювелирной оплавки в стеклышках и как бы создающих иллюзию вечного дыхания мемориальных паразитов – иллюзию, имеющую какое-то отношение к терзающим любой человеческий ум размышлениям о посмертном существовании и, разумеется, к страстным попыткам узреть хоть приблизительный, но существенно обнадеживающий образ такового еще при жизни? Не знаю. Товар мой пользовался огромным успехом у пассажиров подмосковных электричек. Лицо человека, купившего, скажем, замурованного в голубоватый осколок четвертинки клопа и близко поднесшего его к глазам, – лицо это, минуту назад бывшее усталым, отупевшим, брюзгливо недовольным окружающей действительностью и готовым хищно принюхаться к вагонной сваре, вдруг комично одухотворялось страстным интересом, явно выходящим за рамки, так сказать, пошлой покупки. Интерес этот слегка подсвечивался смутной улыбкой, говорившей о само-

забвенном удивлении ума перед тем, что обычно исчезает с глаз долой после поимки и уничтожения, а тут вот, наоборот, – в нераздражительной форме завлекательно свидетельствует о чем-то более возвышенном, чем коварный, полночный укус в чуткое предплечье, привораживает чем-то ужасным и одновременно ублажающим, словно в детстве бабушкина сказка...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.